

Николай Лесков

Старинные психопаты



Николай Семёнович Лесков

Старинные психопаты

Серия «Рассказы кстати», книга 2

*Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174936*

Аннотация

«Полагаю, что редко кому не приводилось слышать или читать рассказ о каком-нибудь более или менее любопытном событии, выдаваемый автором или рассказчиком за новое, тогда как новость эта уже давно сообщена другими в том же самом виде или немножко измененная. И читать и слышать такие вещи бывает досадно. Еще досаднее, когда случится самому принять такой рассказ за действительную новость и потом неосторожно передать его – как происшествие, бывшее с приятелем или знакомым, живущим будто там-то и там-то. И вдруг оказывается, что все это или было когда-то очень давно, в Нормандии, с бароном, который имел большую слабость к псам и жил с деревенской простотою, или же и вовсе этого никогда еще нигде не было...»

Содержание

Эпопея о Вишневском и его сродниках	11
Глава первая	11
Глава вторая	15
Глава третья	19
Глава четвертая	25
Глава пятая	29
Глава шестая	34
Глава седьмая	41
Глава восьмая	46
Глава девятая	51
Глава десятая	55
Глава одиннадцатая	61
Глава двенадцатая	65
Глава тринадцатая	71
Глава четырнадцатая	77
Глава пятнадцатая	81
Глава шестнадцатая	84

Николай Лесков

Старинные психопаты

*Что взаправду было и что миром сложено
– не распознаешь.*
В. Даль

Полагаю, что редко кому не приводилось слышать или читать рассказ о каком-нибудь более или менее любопытном событии, выдаваемый автором или рассказчиком за новое, тогда как новость эта уже давно сообщена другими в том же самом виде или немножко измененная. И читать и слышать такие вещи бывает досадно. Еще досаднее, когда случится самому принять такой рассказ за действительную новость и потом неосторожно передать его – как происшествие, бывшее с приятелем или знакомым, живущим будто там-то и там-то. И вдруг оказывается, что все это или было когда-то очень давно, в Нормандии, с бароном, который имел большую слабость к псам и жил с деревенской простотою, или же и вовсе этого никогда еще нигде не было. Такие смешные, а отчасти иногда и неприятные казусы бывали, я думаю, с каждым; но частный человек, не занимающийся литературою, не знает, как легко можно подпасть тому же самому при литературных занятиях и во сколько досаднее и

обиднее попасться с этим не в устной беседе, а с записью «черным по белому». Между тем в последнее время, бог весть по каким причинам, в нашей литературе беспрестанно начинают встречаться сказания о таких историях, которые уже давно оповеданы.

И еще того удивительнее – замечаются случаи, когда вымышленный рассказ после весьма небольшого промежутка времени объявляется за действительное событие или с маленькими изменениями пересказывается заново как факт, имевший будто бы действительное бытие в другом месте.

В первом роде мы не раз доходили до повторения заново старой выдумки об «иперболе», поедавшей много сена, а во втором – я могу указать два лично меня касающиеся случая: первый был с моим «Сказом о тульском косом Левше и о стальной блохе», а второй – с рассказом «Путешествие с нигилистом». Оба эти рассказа несколько лет тому назад мною *выдуманы* и напечатаны – первый в «Руси» И. С. Аксакова, а второй – в «Новом времени» А. С. Суворина: но «Левшу» критики объявили историей, которая им будто давно была известна, а с «Путешествием с нигилистом» случилось нечто еще более странное. Этот последний рассказ состоял в том, что несколько человек, едучи в вагоне железной дороги, вели будто беседу о различных страхах и мало-помалу наэлек-

тризовались до того, что сами начали всего бояться. Вдруг им стал казаться подозрительным молчаливый пассажир, перед которым на лавочке помещался маленький чемодан. Отчего этот господин все молчит? Что это за поведение? Зачем перед ним стоит чемоданчик? Что у него в этом чемодане? Может быть, это и есть «трах-тарарах»? И наверное так... Даже не может быть иначе... Иначе он сдал бы чемоданчик в багаж – и тогда столь очевидная опасность для всех пассажиров значительно уменьшилась бы...

Пассажиры обеспокоились и посылают к незнакомцу депутата с вежливой просьбой удалить проклятый «трах-тарарах» из вагона. Посол говорит: «Не желаете ли вы сдать этот чемодан в багаж?» Пассажир отвечает: «Не желаю». – «А! в таком случае мы к начальству». Кондуктора, жандармы, станционные – все приступают с вопросом: «Не желаете ли сдать», – но пассажир всем дает один ответ: «Не желаю». И голос у незнакомца недобрый, и тон подозрительный, и вид ожесточенный. Все решают, что это «нигилист». Его берегут, глаз с него не спускают и, наконец, у городской станции требуют, чтобы он вышел. Он выходит очень охотно, потому что ему тут и надо было выйти, но чемодана брать не хочет. «Не желаете ли взять с собою этот чемодан?» Он отвечает: «Не желаю». Его ведут к допросу, спрашивают, кто он такой, и узна-

ют, что он «прокурор судебной палаты», а чемодан оказывается принадлежащим еврею, который скрывался без билета под лавкою. – Картина. Все успокоиваются, смеются и едут далее... И вдруг все это вымышленное мною шуточное событие будто бы повторяется в действительности, и где же? – в Италии с председателем окружного суда из Равенны, проезжавшим через маленький городок Форли. Есть кое-какая перемена в лицах и обстановке, сообразно условиям местности, но вся фабула та же.

Узнав об этом 11-го января из «Новостей», я не только изумился, но даже испугался...

«Как, – подумалось мне, – неужто и до того должно было дойти, что „оскудение“ ощущается уже не в области литературного вымысла, но даже в самой жизни, изобретательность которой всегда почиталась столь разнообразною и неистощимою. Неужто и она вдруг притупела, и вместо того, чтобы постыждать нас бледностию наших измышлений перед живостью истинных событий, она нисходит до того, чтобы разыгрывать на своих клавишах несовершенные наброски нашей композиции... Но однако, к счастью, еще не утрачено право думать, что это не так, – что действительная жизнь наших литературных фантазий не разыгрывает, а совпадение, какое случилось в Италии после моего рассказа, придумано, быть может,

знакомым с русским языком немецким корреспондентом».

И мне стал припоминаться целый рой более или менее замечательных историй и историек, которые издавна живут в той или другой из русских местностей и постоянно передаются из уст в уста от одного человека другому. Большинство из них пользуется репутацией самых достоверных событий и сообщается с указанием собственных имен, места и времени событий. Рассказы эти ведутся так, что усомниться в справедливости их часто значило бы оскорбить не одного рассказчика, но всю местную публику, разделяющую его верования, а между тем верить в действительность упоминаемых событий очень трудно и иногда даже совсем невозможно.

Между тем все подобные истории должны быть дороги литературе и достойны сохранения их в ее записях. Эти истории, как бы кто о них ни думал, – есть современное продолжение народного творчества, к которому, конечно, непростительно не прислушиваться и считать его за ничто. В устных преданиях или даже в сочинениях этого рода (допустим, что есть чистейшие сочинения) всегда сильно и ярко обозначается настроение умов, вкусов и фантазии людей данного времени и данной местности. А что это действительно так, в том меня достаточно убеждают записи,

сделанные мною во время моих скитаний по разным местам моего отечества. Так, например, в преданиях (или, пожалуй, в вымыслах) малороссийских всегда преобладает характер *героический*, напоминающий сродство здешней фантазии с вымыслами польских сочинителей апокрифов о «пане Коханку», а в историях великорусских и особенно столичных, петербургских, – больше сказывается *находчивость*, бойкость и тонкость плутовского пошиба. Очевидно, фантазия людей данной местности выражает их настроение и, так сказать, создает сама себе своих козырей для своей игры. Но замечательно, что все эти козыри, как герои, так и плуты, – все в своем роде выходят как будто в свою очередь тоже и «*психопаты*».

Я очень ценю такие истории, даже и тогда, когда историческая достоверность их не представляется надежной, а иногда и совсем кажется сомнительною. По моему мнению, как вымысел или как сплетение вымысла с действительностью – они даже любопытнее. Я передам здесь некоторые из них не только затем, чтобы сохранить эти памятники общественного творчества, но и для того, чтобы вызвать некоторым из них этим путем проверку. Быть может, то, что мне кажется невероятным, или сочиненным, или заимствованным из каких-то посторонних источников, – происходило и на самом деле, но только переиначено и преувеличе-

но. Кто-нибудь из местных людей может отозваться к моим записям и поправить их сведущими сообщениями, и тогда пред нами предстанет ряд житейских курьезов, которые до сих пор не переходят за границу своих местностей.

Я начну с *героического*— с рассказов малороссийских, в которых более грандиозного, наивного и, как мне кажется, преувеличенного, но во всяком случае весьма своеобразного.

Эпопея о Вишневском и его сродниках

Вот вам помещик благодатный.

Из непосредственных натур.

И. Тургенев

Глава первая

В Переяславском уезде, Полтавской губернии, был помещик Иван Гаврилович Вишневский. Он получил от щедрот императрицы Елисаветы Петровны большое имение по обоим берегам реки Супоя (реки Удай и Супой отмечены в одной географии «неспособными к судоходству по множеству пороков»). Имение это состояло из двух больших деревень, из которых одна называлась Фарбованая, а другая Сосновка.

Старый пан Иван Вишневский жил и умер в этом имении, а после его смерти Фарбованая и Сосновка достались сыну его, Степану Ивановичу Вишневскому, который оставил по себе героическую известность – может быть, сильно дополненную и разукрашенную домыслами во вкусе местной фантазии.

Степан Иванович был атлет и богатырь, а притом

также хлебосол, самодур и преужасный развратник, но имел образование. Он был одним из тех молодых людей, которых императрица Екатерина посылала в Англию «для просвещения ума и сердца».

По возвращении из Англии он поступил на службу в конногвардейский полк, но как только дослужился до чина поручика – вышел в отставку, женился на тверской дворянке, девице Степаниде Васильевне из рода Шубинских, и поселился в Москве в собственном доме.

Делать Вишневному здесь было нечего, и он начал «чудить».

Прежде всего он надумал импонировать москвичам своей хохлацкой «нацией». Он не хотел никого знать – одевался по-хохлацки, много пил «запридыху» и ел, будто, одно только медвежье мясо.

Императрице доложили, что Вишневецкий «не соблюдает светских приличий», и тогда самодуру было сделано замечание. Он решился исправиться и с этой целью вытребовал себе из Малороссии в Москву хохлацкую телегу с парюю волов и парубка, который умел этими волами править. А как только наступил день обычных и для всех видных лиц в столице обязательных визитов, Степан Иванович собрался «объезжать всех именитых людей с визитами». Но выехал он не налегке, в одном экипаже, а с целым поездом. Впе-

реди скакал жокей на кургузой английской кобыле, за ним следовала цугом запряженная прекрасная карета, в которой сидел камердинер, а за каретою ехала телега или хохлацкий «воз», заложенный парюю сильных круторогих волов, и на этом возу помещался пан Степан. Он сидел, как обыкновенно садятся малороссийские крестьяне – то есть посередине телеги, на кучке раскинутой ржаной соломы, и курил с флегматическим спокойствием коренковую трубку излюбленного хохлацкого фасона. Волами правил хохол в за-трапезных шароварах «ширше облака», в дегтярной рубахе с прямым воротом, в «тяжких чоботах» и в высокой смушковой шапке. Хохол шел около волов с ба-тогом и придерживал их за ременный налыгач, «щоб ни злякались як торохтыть город», а сам покрикивал где надо: «цо-бе», а где надо: «цоб».

Жокей имел список особ, которых должен был посетить этот задичавший европеец. Справляясь с списком, жокей скакал вперед и, прискакав на двор стоявшего в списке вельможного лица, возвещал:

– Мій пан іде!

А когда поезд показывался, жокей оборачивался к нему лицом и опять в голос кричал:

– Ось сам пан Вишневськи приїхав!

Тогда карета останавливалась у крыльца, из нее вылезал камердинер Степана Ивановича и шел спра-

шивать, угодно ли хозяевам принять его господина?

Если Вишневого принимали, – тогда карета отъезжала далее, а к крыльцу подъезжал «воз» на паре волов, и Степан Иванович входил в покои и щедро одарял всю попадавшуюся ему на глаза хозяйскую прислугу. В апартаментах он вел себя барином и европейцем, щеголяя прекрасными манерами, отличным знанием языков и острою едкостью малороссийского ума.

«Бо був собі шутковатій, и знав усе по-хрянцузськи и по-вложски и на усі языки умів хвалыть господа. Але тилько до того був лінивий».

Глава вторая

Ел Вишневский, как выше сказано, будто бы только одну медвежатину и для того содержал в одном из тверских имений жены «медвежий питомник». Медведей там кормили и доставляли в Москву, к столу Степана Ивановича. К полиции Вишневский имел врожденную и непобедимую ненависть, и ни один полицейский не смел отважиться войти к нему во двор, не рискуя натерпеться всяческих обид, если только попадет на глаза Степану Ивановичу. Дом Вишневского в Москве для полиции был недоступен и, по тому ли или по другому, скоро получил себе весьма таинственную и несколько нелестную известность. Более всего ей помогали безнравственные инстинкты Вишневского по отношению к женщинам, или, пожалуй, точнее сказать, к детям женского пола. Полиция, в свою очередь, ненавидела Степана Ивановича и подыскивала случаи ему отомстить за его невежества, но долго никакого удобного к тому основания не находила. Наконец, однако, к тому представился случай: один раз дворная собака вытащила на улицу и обронила не совсем еще лишенную мускульных связей пясть, которая была признана стопою небольшой человеческой ноги. Через несколько дней это еще раз

повторилось. За собакою подсмотрели и увидали, что она таскает эти кости из мусорной ямы. Прислуга соседних домов стала говорить, что Вишневский производит бесчинства над своими крепостными девочками и потом будто бы их убивает. Скоро стали производить счет девочкам, будто бы безвестно пропавшим, и даже называли их по именам.

Полиция не только усмотрела в этом достаточный повод вмешаться в дело, но даже сочла это своею прямою обязанностью, – что и в самом деле так было. С этою целью на двор Степана Ивановича явились пристав и квартальный и приступили к осмотру той ямы, откуда собака таскала подозрительные кости. Верные слуги Степана Ивановича не дозволили полиции приступить к осмотру, не известив своего «пана». Степан Иванович надел архалук, сам вышел к полицейским и велел им открыть яму. Там, к радости полицейских, нашли множество таких точно костей, какие послужили поводом к подозрению, но тут же было доказано, что это отнюдь не ступни человеческих ног, а лапы убитых для стола Вишневского молодых медвежат.

Полицейские сконфузились и начали извиняться перед Степаном Ивановичем, говоря, что они были вовлечены в ошибку сомнениями и ложными слухами. Вишневский их извинил и... тут же отстегал кнутом.

Эта острая выходка имела для него последствием то, что ему велено было оставить Москву и жить в малороссийских деревнях, пожалованных его отцу Ивану Гавриловичу от щедрот императрицы Елисаветы Петровны.

Вишневский должен был подчиниться сказанному требованию и переехал в Переяславский уезд в Фарбованую, чтобы колобродить там еще на большей свободе.

Случай с медвежьими лапами приписывается московскими рассказами нескольким лицам, и Степану Ивановичу Вишневскому он усвоится только одними малороссийскими преданиями, сложившимися преимущественно по равнинам, орошаемым реками Удаем и Супоем. Что же касается визитов по Москве на паре волов, то в этом роде как будто что-то было, но в московских преданиях об этом мне никогда не удалось услыхать о такой оригинальной выходке ни малейшего воспоминания. На этом основании рассказ этот, кажется, должно считать сомнительным; но между обитателями равнин Удая и Супоя много охотников крепко стоять за справедливость этой истории, и на все доводы о том, что это ничем не подтверждается в Москве, они с самоуверенною презрительностью оттопыривают свои толстые казацкие губы и говорят:

– От тоже, – захотілы вы на Москві правду шукать!

Глава третья

Когда Степан Иванович Вишневский поселился в своих малороссийских маетностях, то он себе построил дома в обеих деревнях, по обе стороны достославного Супоя – в Фарбованой и Сосновке. При обоих домах, отремонтированных на широкую барскую руку, содержались обширные штаты прислуги, выезды охоты, конные заводы и гаремы, которыми, впрочем, Степан Иванович не довольствовался и пользовался еще широко своими правами падишаха на всех женщин своего подданства. Жил он попеременно то в одном своем имении, то в другом и везде содержал раз установленные им своевольные порядки. Он считал себя в полнейшем праве приводить всех, как он выражался, «в свою крещеную веру» – и свободно и беспрепятственно достигал всего, чего желал достичь.

Между всеми прихотями его своенравия и здесь прежде всего обозначилась ничем не усмиряемая ненависть Вишневского к полиции. Как только он приехал в деревню, так тотчас же сделал распоряжение, чтобы ни исправник, ни пристава и никто из чиновников не смели ездить по его владениям с колокольчиками. Крестьянам было приказано, чтобы они останавливали каждого, кто едет с колокольчиком, и осведом-

лялись – кто он такой. Если проезжающий был дворянин или вообще частное лицо, то его было велено отпустить и при этом говорить, что земли, по которым он едет, принадлежат пану Вишневному и что этот пан «любит и шанует» честных гостей – для чего проезжающих и приглашали «до господы», чтобы «отпочить с дороги», то есть отдохнуть от путевых трудов и «откушать панского хлеба-соли». Если проезжающий торопился и не хотел заезжать «на гостинци», а учтиво благодарил, то его насильно не задерживали, а так же «учтиво» позволяли следовать далее и не возбраняли звонить колокольцем. А если проезжий не спешил и изъявлял согласие заехать к пану, то его провожали в Фарбованую или Сосновку, смотря по тому, в которой из этих деревень жил в то время пан Вишневикий.

Степан Иванович встречал всех таких гостей радушно, не разбирая их чинов и званий, и угощал их по тогдашнему роскошно и обильно – иногда даже слишком обильно, так что иные от его хлебосольства даже занемогали. Но приневоливания ни в пище, ни в питеи не было, а только все предлагалось «до отвалу», и если кто-нибудь себя перевозмогал до излишества, то в этом вины и насилия со стороны Вишневного не было, а всякий неосторожный гость должен был пенять на самого себя и безропотно казнил за свою неумеренность.

Многим из гостей, которые оказывались людьми нуждающимися, Степан Иванович даже оказывал значительное пособие, а офицерам всегда любил дарить что-нибудь ценное на память. И такой широкий обычай был причиной того, что его ласка и хлебо-сольство делали его очень милым и любезным. Но чуть только дело касалось чиновников и особенно полиции – Степан Иванович являлся по отношению к ним самым грубым тираном, и требования, какие он простирает к этим несчастным лицам, были в такой степени суровы и для них унизительны, что даже трудно верить – как они могли им подчиняться и не находили средства оградить себя от фарбованского причудника.

Как только исправник или пристав подъезжали к граничной меже владений Вишневого, они должны были остановиться и подвязать язычок колокольчика, чтобы он не звонил. Иначе крестьяне останавливали блюстителя порядка, должны были *отвязать* колокольчик и немедленно отнести его в господский дом к самому пану. Сопротивление со стороны полицянта угрожало ему двойною опасностью – быть побитым от крестьян, которые могли производить это в «панскую голову», то есть на ответственность самого помещика, а потом виновного отвели бы к «пану», у которого всякого полицейского по меньшей мере ожидал неве-

роятно унижительный, но с неупустительной строгостью соблюдавшийся особый церемониал.

Покорный и непокорный, честный или притязательный полицейский чиновник был у Степана Ивановича «в одном расчислении». В честность их он, впрочем, нимало не верил и, кажется, на этот счет не очень сильно ошибался. Правилom его было то, что *никакой* чиновник ни для какой надобности и ни под каким предлогом не мог переступить через порог его дома. Если исправник или пристав имели к нему служебную надобность или вынуждены были явиться к нему с какою-либо претензией или просьбою, то они знали, что должны ехать по его владениям «без звона», как можно тише и останавливаться у околицы, – отнюдь не смея въезжать на лошадях в его усадьбу. По усадьбе и по двору они обязаны были идти пешком и, сняв шапку у ворот, проходить мимо окон дома не иначе, как с открытою головою.

Иначе, при малейшем нарушении этого правила, надрессированная прислуга сейчас же взяла бы их под локти и заворотила назад, «наклав им при сем добре по потылице». А так как это соблюдалось крепко и верно, то никто и не смел думать ослушаться и сопротивляться. На этом, однако, унижения еще не кончались: чиновник не допускался далее крыльца, под которым жили огромные меделянские собаки. Здесь

чиновник должен был стоять и ожидать, пока Степан Иванович вышлет к нему «комнатного казака», то есть, просто говоря, лакея. С лакеем чиновник должен был «поздороваться вровнях», то есть подать лакею руку, и затем только мог изложить тому же лакею цель своего приезда к пану.

Если Вишневному казалось, что надобность, за которую приехал чиновник, не стоит внимания, то он приказывал «прогнать его вон». А если надобность была какая-нибудь дворянская или объявление ему чего-либо из высших сфер, то Степан Иванович надевал на себя бекеш, шапку, сам выходил на крыльцо и выслушивал чиновника, стоя к нему все время боком и никогда не глядя ему в лицо.

Затем Вишневецкий молча уходил, а лакей подавал чиновнику на тарелке рюмку водки и пятидесятирублевую ассигнацию. Чиновник должен был выпить водку и потом взять себе на «закуску» пятьдесят рублей (хлеба-соли в их натуральном виде чиновникам в доме Вишневецкого не предлагали). Если же чиновник, паче чаяния, как-нибудь высоко о себе мнил и не стал бы выпивать вынесенной ему на крыльцо рюмки водки, то он не мог получить и денег, положенных на закуску. В таком «Случае лакей должен был *столкнуть* его с крыльца и водку выплеснуть ему в спину, а закусовые пятьдесят рублей взять себе в свою пользу

и дернуть за веревку, а эта веревка шла к железной клямке от двери, за которою сидели под крыльцом меделянские собаки.

Зная все это, чиновники никогда не отваживались обнаруживать хотя бы самомалейшее сопротивление установлениям Степана Ивановича и... даже были очень рады, когда им встречалась надобность появиться на крыльце фарбованского пана.

Если все это несомненно так, как гласят предания, то пятьдесят рублей на закуску, очевидно, имели тогда свою высокую цену.

Глава четвертая

В отношении целомудрия и нравственности вообще Степан Иванович слыл человеком бесцеремонным и притом самым наивным. Впрочем, в этих отношениях он имел себе очень много подобных и равных, но в его героической эпопее в этого рода делах чрезвычайно оригинально представляется роль его супруги Степаниды Васильевны, рожденной Шубинской, которую тоже, кажется, есть полное основание называть психопаткою – хотя, впрочем, в ином роде.

Она была, как выше сказано, тверская дворянка и образованная барыня из очень хорошего рода. Супруга своего она любила и жила с ним всегда в постоянном согласии. От союза ее с Степаном Ивановичем у нее были две дочери, из которых рождение второй было очень неблагополучно, и Степанида Васильевна сделалась „навек не человек“. Степан Иванович стал с нею сепаратничать: если она жила в Фарбованой, он уезжал в Сосновку, а если она была в Сосновке, то он съезжал в Фарбованую. Видя это и, как говорила Степанида Васильевна, „любя своего мужа“, она стала прилагать всякие заботы, чтобы он „от нее не удалялся“ и чтобы ему и при ней „жить было не скучно“. С этою целью она устраивала у себя деви-

чьи посиделки, на которые девушки шли неохотно и со слезами, но Степанида Васильевна их обласкивала и угощала до тех пор, пока те освоивались и переставали плакать. Тогда Степанида Васильевна писала мужу и приглашала его к себе „прибыть, на девиц полюбоваться“. А он ей отвечал: „Очень тебя благодарю и заботы твои обо мне ценю, а впрочем, в главном выборе я на твой вкус больше, чем на свой собственный, полагаюсь“.

Такой ответ мужа не только радовал, но и умилял Степаниду Васильевну. Чувства ее к Степану Ивановичу горели сугубым пламенем, и она ему вскорости же опять нетерпеливо отписывала: „За доверие твое, бесценный друг мой, весьма тебя благодарю, и в рассуждении моего вкуса, в чем на меня полагаешься, от души тебе угодить надеюсь, но только прошу тебя, ангел моей души, – приезжай ко мне сколь возможно скорее, потому что сердце мое по тебе стосковалось, и ты увидишь, что я не об одной себе сокрушаюсь, но и твой вкус понимаю. Дети наши обе здоровы и тебе кланяются и целуют ручки“. Подпись: „Твоя верная жена и раба Степанида“.

Степан Иванович, получив такое послание, оставлял отдельное житье и приезжал к супруге, которая вполне достигала того, что ему „жить в одном доме с нею становилось нескучно“.

Она не только ласкала и нежила ею же избранных для своего мужа фавориток, но нянчила и выхаживала его детей, которых при таком патриархальном порядке панской жизни в Фарбованой народилось очень много.

Сам Вишневский далеко не был так чистосердечен и искренен, как его жена: когда растленный нрав Степана Ивановича начинал прискучать тою особою, которая была призвана к обязанности „делать его жизнь нескучною“, Вишневский начинал собираться „пожить один в другой деревне“.

Степанида Васильевна это тотчас же понимала и хотя не перечила мужу, так как мир и согласие супружеское она, по завету предков, ставила выше всего на свете, но через некоторое время она опять устраивалась и писала ему тихое и ласковое письмо, где говорила: „Хитрости твои и твоя со мною в важных делах неоткровенность очень меня, мой друг, огорчают и терзают, потому что я их ничем не заслужила. Бог видит мою правду и истину, что люблю тебя больше всего на свете, и от разлуки с тобой сердце мое по тебе иссушается как трава, но горячая слеза текущая не высыхает. А ту особу, которая незанимательностию своею тебя утомила и прискучила, я своим рачением без больших хлопот совершенно устроила, и все они нынче своим положением теперь вполне довольны и

благодарят. А ты бы если поспешил ко мне, то мог бы теперь полюбоваться на очень приятные лица. Дети же наши обе благостию божиею хранимы, – живы и здоровы и об отце своем молятся“. И опять та же подпись: „жена и раба“.

В ответ на это от Вишневого следовали комплименты жене, с повторением полного доверия к ее вкусу, и затем Степан Иванович вскоре возвращался под семейный кров. Его ждали, разумеется, тимпаны и лики, ласки и восклицания, и телец упитанный, и все, все, что было нужно, чтобы сделать его счастливым, как он желал и как это могла устроить его нежная-пре-нежная жена, которая имела несчастье из живой и очень милой женщины стать „навек не человек“.

Глава пятая

После описанных уже перипетий Степан Иванович исправился в отношении своей скрытности и недоверия и никогда не прибегал более к хитростям сепаратной политики.

Степанида Васильевна, по словам крестьян, „доглядала его, як маты свою дытыну“.

Невероятная, примитивная простота этих отношений, напоминающая собою библейский рассказ о Сарре и об Агари, становится еще невероятнее, если дать веру частностям, которые рассказывают о житье этих супругов.

Степан Иванович был какой-то чистый турок. По отношению к своим многообразным привязанностям он совмещал в себе все роды любви, от мимоходных неосторожностей до привязанностей к одалискам и к первой султанше. Мимоходное, конечно, ни во что не ставилось и не подлежит счету; а роль первой султанши, разумеется, занимала его законная жена, которую он со своей стороны тоже, пожалуй, по-своему любил, и во всяком случае уверял, будто очень ее „уважает“.

– Если кто сделает что-нибудь против меня, – говорил он, – то это я еще, пожалуй, могу простить, но если бы кто-нибудь только помыслил вслух сделать

что-нибудь к обиде Степаниды Васильевны, то кто бы он ни был, я везде его достану, и сам царь Иван Васильевич не выдумал такой казни, какую я расказню грубияна бесценной жены моей.

Все это знали и знали тоже, что Степан Иванович не шутит и что говорит, то и выполнит, и потому никому и в голову не приходило обнаружить хоть малейший признак неповиновения или ослушания Степаниде Васильевне. Но не все одинаково разумели такую ревнивую заботу Вишневого о жене, и между тем как один приписывал ее безмерной его к ней нежности – другие усматривали в этом хитрость, которая и в самом деле была в значительной мере доступна хохлацкой натуре Вишневого. Думали, что он „нагонял страх“ всем за жену более для того, чтобы ее требования к услаждению его жизни любовью крепостных одалисок не встречали ни малейшего противоречия, так как всякое самое малейшее ослушание ей он наказал бы так, что царь Иван Васильевич во гробе бы содрогнулся.

Впрочем, было это так или иначе, с положительностью сказать невозможно, но есть положительные рассказы, что, крайне развращенный и до жестокости бесцеремонный в своих мимоходных делах, Степан Иванович любил вносить своеобычную поэзию в свои отношения с одалисками, избранными для него

на вкус его первой султанши. И он умел достигать этого без всякого принуждения своей натуры, в которой обнаруживалось в этих случаях нечто нежное и чувствительное. Он, подобно Дон-Жуану, мог похвалиться, что не только не оскорблял молодые существа грубостью, но даже „никогда не обольщал с холодностью бесстрастной“. Нет, он приезжал в дом жены, где ее любовь приготовила ему утеху, с нежною ласковостью, и оба супруга вместе выносили избранницу, „как соколку по зорькам“. Они ее приласкивали, наряжали, лелеяли, она жила в комнатах Степаниды Васильевны, пестро разодетая, утопая в неге и пресыщаясь лакомствами, и сама не замечала, как переходила из одной роли в другую, словно в тумане долго не сознавая того, что с нею случилось и чем это должно было окончиться. Все эти одалиски вступали в свою роль в летах едва окончившегося детства, когда еще голова бедна опытом и представления о грядущем слабы, а жизнь полная утех в настоящем заманчива. Из них многие искренно располагались душою и сердцем к своему повелителю, или по крайней мере не тяготились им, а Степаниду Васильевну даже любили, „як маты“. И она их действительно ласкала как мать и ободряла как старшая гаремная подруга, наслаждавшаяся тем счастьем, какое младшие одалиски доставляли ее любимому падишаху. В

доме жена, муж и дежурная фаворитка почти не разлучались и большую часть проводили время втроем, но к некоторым из одалисок Степа» Иванович пристращался до того, что не мог с ними расставаться даже и на одну минуту. Вишневский пристращался к возлюбленной не только чувственно, но и любовно, как пылкий юноша, и, покидая дом в случаях неизбежных, брал ее с собою, переодетую казачком или арапчиком, на попечении которого будто состояли янтари его роскошных чубуков и кисет с табаком, который надобился ему беспрестанно, так как Степан Иванович курил даже ночью, и потому «трубочный мальчик» был при нем безотлучно.

Полагали, что в подобных случаях Степаном Ивановичем до известной степени руководила ревность, но это предположение не имеет основания, так как Вишневский, конечно, ничем не рисковал бы, если бы оставил девушку на попечение Степаниды Васильевны: и потому гораздо вернее думать так, как передавали люди, ближе знавшие этого малороссийского психопата, – то есть, что он просто страстно влюблялся в своих фавориток и не мог с ними расставаться до тех пор, пока страсть его совершала свое течение и остывала.

И чем страстнее была привязанность к известной одалиске со стороны Степана Ивановича, тем буль-

шую нежность и заботу это лицо вызывало к себе со стороны его жены. Проходила страсть у Вишневого, и он «отъезжал за Супой», а Степанида Васильевна брала на себя заботу устроить старую «утеху» и приготовить новую, которая снова возвратила бы фарбованского пана с того берега.

Трагического в этих развязках никогда не было. Благодаря такту, сердоболию и щедрости Степаниды Васильевны все эти дела устраивались мирно и ладно, ко всеобщему удовольствию всех мало-мальски близких к девушке лиц. Исключение составлял единственный случай с пятнадцатилетнею крестьянскою девочкою, занявшею особенно сильное положение в сердце Вишневого и оставившею ему сына и неприятный след в его воспоминаниях.

Глава шестая

Местные предания сохранили самое имя этой стройной, «як былинка», черноокой девушки, приблизившейся к своему пану в довольно уже поздние годы его жизни. Ее называют Гапка Петруненко. Она была так хороша, «що аж очам мило було на нее дивитися», и, как показывает ее история, имела сердце чуткое и очень восприимчивую душу. Вишне夫斯基 мог обнять ее тонкий стан, ее талию перстами своих рук и так любил ее, как никакую другую, ни до нее, ни после ее пользовавшуюся его фавором. Он одевал ее в розовый атлас и в кофты, сшитые из дорогих турецких шалей, носил ее на руках и целовал ее ноги.

Видя такую неутолимую привязанность мужа к этой девушке, Степанида Васильевна тоже пестовала ее до забвения о себе и о своих дочерях, из которых старшей тогда уже шел двенадцатый год. Степанида Васильевна сама плела на день черные косы Гапочки, сама их расплетала на ночь и подкуривала ароматами, пахучий дым которых проникал густые волосы и держался в них с смолистою силою. Она не позволяла ничьим низким рукам коснуться до ее тела и даже сама орошала крепким настоем душистых роз ее ноги, к которым на ее же глазах в страстном самозабве-

нии припадал устами Степан Иванович. Словам, эта прелестная девушка была фавориткой из фавориток, и пребывание ее в доме Вишневских заключало в себе много от всех отменного. Степан Иванович, даже выезжая на окоту с борзыми, брал Гапку с собою и не довольствовался тем, что она, одетая черкешенкой, едет в покойном рыдване, а брал ее оттуда и возил перед собою на седле. Когда же девушка уставала от неудобного и утомительного путешествия на лошади и сон начинал клонить ее головку, – Вишневский не отдавал ее ни на чьи чужие руки, а тотчас же прекращал полеванье и бережно, на своих собственных руках, вез Гапку домой. И боже сохрани, чтобы кто-нибудь из его свиты завел в это время какой-нибудь шум и нарушил им детский сон возлюбленницы пана!.. Виновный не миновал бы сырой ямы и ременных арапников.

Так же бережно Вишневский опускал с рук это дитя у крыльца на руки встречавших его людей и сам сопровождал их, когда они переносили Гапку во всякой тишине в покои Степаниды Васильевны.

Здесь ее раздевали и укладывали на атласные подушки широкого турецкого дивана, на котором с краю садились и сами супруги пить чай. И во все это время они не говорили, а только любовались, глядя на спящую девушку. Когда же наставал час идти к покою,

Степанида Васильевна вставала, чтобы легкою ступою по мягким коврам перейти в смежную комнату, где была ее опочивальня, а Степан Иванович в благодарном молчании много раз кряду целовал руки жены и шептал ей:

– Ты мой ангел-хранитель – я тебя обожаю!

Степанида Васильевна чувствовала и разделяла счастье мужа с способностью, быть может ей одной только свойственную по своей невероятной прихотливости.

Она уходила в спальню, долго там молилась перед лампадою и потом опять неслышными стопами входила в смежную комнату, где розовая Гапка спала, обняв крепкими молодыми руками подушки, а атлетическая фигура Вишневого лежала на ковре, с головою, прислоненною к дивану, в ногах спящей девушки.

Степанида Васильевна крестила их обоих и уходила на свою вдовью кроватку, и сон ее был тих, мирен и живителен... И во всем этом странном и несогласимом, по-видимому, сочетании чувств и отношений она не видала ничего для себя унижительного и даже ничего неудобного, а напротив, ей казалось, что все идет именно так, как только может идти лучше.

Безграничная любовь этой женщины к мужу и огромное несчастье, заключавшееся для нее в условиях ее здоровья, как-то смешивались, ее нравствен-

ные понятия никому не были ясны и понятны. Передавая эти сказания в сборе отрывочных сведений из нескольких уст, я не стану и стараться пояснить личность Степаниды Васильевны Вишневской каким-нибудь более точным определением. Думаю лишь, что по нынешним временам это подходило бы к тому, что называют *«психопатией»*. Я передаю только любопытный рассказ, как сам его слышал, и не произношу над характерами и правилами героев этих легендарных сказаний никакой своей критики.

Я думаю, что дело главным образом теперь не в критике, от которой все именуемые здесь лица ушли уже в царство теней, а в сохранении на память потомству удивительной непосредственности их характеров и прихотливой, оригинальной их жизни.

Нам хорошо известны бурные натуры наших великорусских дворян, при которых, по выражению поэта, жизнь «текла среди пиров, бессмысленного чванства, разврата мелкого и мелкого тиранства, – где хор подавленных и трепетных людей завидовал житью собак и лошадей». Здоровое, реальное направление нашей русской литературы, быть может порою заслуживающей и укоры за излишний реализм, показало нам нашу великорусскую жизнь налицо. Мы знаем, каковы наши «ветхие мехи», затрещавшие при игре влитого в них молодого вина; но писатели малорос-

сийского происхождения не следовали нашему, может быть единственно полезному в настоящее время, литературному направлению. Жизнь малороссийского козырного барства от нас скрыта романтизмом или крайним простонародничеством малорусских писателей. Если она где-нибудь изредка и представляется, то почти всегда в напыщенных формах, напоминающих бесконечные польские истории о «пане Коханку». Меж тем малороссийское барство имеет свою оригинальность, которая стоит изучения и которая в то же время способна проливать довольно яркий свет на те особенности малороссийского характера, какие, по замечанию Шевченко, представляют миру «славніх прадідов вельких прауноки погани».

Небесполезно посмотреть на представителей той серединной генерации, которая лежит пластом между «прадідами и прауноками» – между теми, которых национальный поэт величал «велькими», и теми, которых он считал за «поганных». Перед нами теперь фигуры, стоявшие на водоразделе этих двух главных течений, из которых одно несло будто на себе малороссийский край к незапятнанному величию, а другое повлекло его к неисправимому «поганству».

В мире «все причинно, последовательно и условно», и потому в цепи могут изменяться фасоны звеньев, но тем не менее все-таки звено за звено дер-

жится и одно к другому непременно находится в соотношении.

Собирая в одну запись то, что мне приводилось слышать о Вишневском и его сродниках, я думаю, что я сберегаю этим литературе звено чего-то пропущенного и до сих пор сохранившегося только в одних преданиях. Пусть они и не совсем верны, но даже и в таком случае они интересны – как местное народное творчество, указывающее, что поражало и что вдохновляло людей с фантазией, или что им нравилось.

Продолжаю о Вишневском.

За несколько строк пред сим мы оставили могучего фарбовановского пана спящим на ковре у ног своей сельской нимфы. Оставим их и еще в этом положении, изящнее и поэтичнее которого, кажется, не было в его своеобразной, безалаберной и невесть чему подобной жизни. Пусть они, как малороссы говорят, «отпочнут» здесь сладко до зари того дня, который омрачил их счастье и спокойствие и в чашу любовных утех пана выжал каплю горького омега.

Ниже мы встретим случай, при котором будет место изложить это происшествие, составлявшее высший, кульминационный пункт душевных страданий и нравственного возбуждения Вишневского, – вслед за чем опять пошли своим чередом любовные смены, не захватывавшие выше того, что нами уже описано, но за-

то не оставлявшие Степана Ивановича до самой его смерти.

Очеркнем теперь, как можем и как умеем, другие стороны его деятельности и характера.

Глава седьмая

Как отец и как воспитатель Вишневский ни в одном из слышанных мною о нем рассказов не занимал никаких характерных положений, а упоминается только как *родитель*. Впрочем, говорят, что когда в Петербурге «заводились институты» и именитое дворянство, по желанию государыни, получило приглашение привозить туда для воспитания девиц, то Степан Иванович ездил в Петербург и сам отвез туда дочь. Но и это обстоятельство воспоминается не для того, чтобы обозначить ею родительскую заботливость Вишневского, а потому, что эта поездка оказалась в связи с другим любопытным событием, о котором ниже будет рассказано. Как помещик, в качестве хозяина, судии и наказателя душ подвластных ему крепостных людей, Вишневский тоже не представлял собою особой оригинальности. Он правил хозяйством, «як повелось из давнего времени». Все делалось через крепостных или наемных приставников, из православных и из поляков. Вишневский держал при себе на службе несколько человек поляков, к которым не питал никакой вражды, но любил иногда над ними забавляться. Было и несколько евреев, которых психопат любил пугать разными страхами. Не одного из них он за-

морил и загнал страхом со света, но они всё к нему лезли, потому что Вишневский иногда бывал щедр и бросал им что-нибудь на разживу. Впрочем, комиссионерских, услуг от евреев он не чуждался. Только бже спаси было его обмануть... Он не столько больно заперет розгами или плетьюми, сколько истерзает страхом. У Вишневского был и патриотизм, выражавшийся, впрочем, *a la longue*¹ пристрастием к малороссийскому жупану и к малороссийской речи, а затем – в презрении к иноземцам. Особенно он не благоволил к немцам, которых не находил возможности уважать по двум причинам: во-первых, что они «тонконоги», а во-вторых – вера их ему не нравилась – «святителей не почитают». Степан Иванович думал, что сам он «святителей почитает». В вопросах веры он был невежда круглый и ни в критику, ни в философию религиозных вопросов не пускался, находя, что «се діло поповское», а как «лыцарь» он только ограждал и отстаивал «свою веру» от всех «иноверных», и в этом пункте смотрел на дело взглядом народным, почитая «христианами» одних православных, а всех прочих, так называемых «инославных» христиан – считал «недоверками», а евреев и «всю остальную сволочь» – *поганцами*. Иностранец и «даже немец» мог попасть к столу Степана Ивановича, и один – именно немец –

¹ конце концов (*франц.*).

даже втерся к нему в дом и пользовался его доверием, но все-таки, прежде чем допустить «недоверка» к сближению, религиозная совесть Вишневого искала для себя удовлетворения и примирения с собою. У Степана Ивановича, который, по собственному его сознанию, «катехизицу не обучавься», хорошо сложился и очень конкретно оформился им самим составленный чинок для приятия инославных.

Степан Иванович говорил «люторю» или «католюку»:

– Ну, а все же ведь ты хоть и не по-нашему веришь и молишься, но Николу-угодника ты наверно уважаешь?

Испытуемый «иновер» знал по достоверным слухам, что бы такое с ним произошло, если бы он посмел сказать, что он не уважает угодника, за которого стоит фарбованский пан... Он бы сейчас узнал – крепки ли стулья, на которых Степан Иванович сажает своих гостей, и гибки ли лозы, которые растут, купая свои веточки в водах Супоя. А потому каждый инославец, которому посчастливилось расположить к себе Вишневого до того, что он уже заговорил о вере, – отвечал ему как раз то, что требовалось по чину «приятя».

– О да! – отвечал вопрошаемый инославец, – как же не уважать Николу – его весь свет уважает.

– Ну, чтобы «весь свет» – это уж ты, брат, немножко хватил лишнее, – говорил Степан Иванович, – ибо надлежит тебе знать, что святой Никола природы московской, а ты поуважай нашего «русского Юрка».

Слово «русский», в смысле малороссийский или южнорусский, тогда здесь резко противопоставлялось «московскому» или великороссийскому, северному. Московское и «русское» – это были два разные понятия и на небе и на земле. Земные различия всякому были видимы телесными очами, а расчисления, относимые к небесам, познавались верою. По вере же великорусские дела подлежали заботам чудотворца Николая, как покровителя России, а дела южнорусские находили себе защиту и опору в попечениях особенно расположенного к малороссиянам святого Юрия или, по нынешнему произношению, св. Георгия (по-народному «Юрко»).

Всякий инославец, выдержав испытание о св. Николае, конечно, еще тверже говорил Вишневному, что он уважает святого Юрия «еще больше, як Николу».

Это Степану Ивановичу нравилось. Тем вся катехизация новоприемлемого оканчивалась, и воссоединенного уже никогда более разновеирием не попрекали. Даже если кто-нибудь невзначай касался словом их разницы, то Степан Иванович это останавливал, говоря:

– Никакой нет разницы: он и Николу уважает, а святого Юрко еще больше.

Глава восьмая

Так исправившие себя инославцы всходили на самые перси психопата, а немец даже управлял почти безотчетно одним именем и так широко пользовался своими полномочиями, что делал почти все то самое, что делал и Вишневский.

Степан Иванович только в рассуждении женщин не позволял ему простирать требований к себе на двор, дабы никто не видал женщины настоящего, греческого закона, «входящей к немцу». Из этого для нее мог произойти срам, унижительный даже и для могущего явиться ребенка. Немец обязан был надевать летом холодный, а зимою ватный халат и картуз и брать в руки фонарь и идти сам на деревню, в сопровождении десятника, который «отвечал за его жизнь». А немец был только ограничиваем одним наказом, чтобы от него не было никакого размножения «немецкой прибыли, а все шло в прибыль русскую».

По деталям это казалось только частными ограничениями, но в общей сложности всего выходило, что немец жаловался Степану Ивановичу, говоря:

- Никак нивозможность.
- А почему бы это так?
- Все удираетси!..

Это означало, что как только немец выходил в свой ночной поход в длинном спальном халате и с фонарем в сопровождении «отвечавшего за его жизнь», так все его издали видели, и все, кому угрожало по направлению его посещение, разбегались и прятались.

Степан Иванович об этом как будто сожалел, но ничего в установленном им порядке отменять не позволял.

– Без фонаря и без провожатого тебя пришибут и выпотрошат, и отвечать за тебя мне будет некому, – говорил он, как будто искренно признавая установленный им порядок за необходимое; но близко изучившие его люди замечали, что при том, как он обсуждал с немцем его дело, – «один ус» у Степана Ивановича «смеялся».

У него, как у настоящего психопата, многое бестолковое соединялось с хитрым и было так «пересыпано», что «не можно було добрать, що він вередує».

Игривые штуки его с немцем кончились тем, что тот все ходил, мерцая своим фонарем, как ивановский жук в траве, пока, наконец, в сенях одной крестьянской хаты ему отмяли бока, и провожатый, отвечавший за его жизнь, принес его домой, где тот и не замедлил отдать богу свою немецкую душу, пожившую здесь с почтением к святителю Николаю и к св. Георгию.

Но, несмотря на самоподчинение этого немца названным святым, Степан Иванович все-таки нашел, что его недостойно было хоронить внутри кладбища, «вместе с родителями правой восточной веры», а указал закопать его «за оградой» и не крест поставить над ним, а положить камень, «дабы притомленные люди могли на нем присесть и отпочить».

Все он во всех случаях держал какой-то особый, но в своем роде очень сообразный тон, обличавший в нем и юмор и почтительность к родной вере, утверждавшейся для него не столько на катехизическом учении, как на св. Николе и на Юрке. Но богу единому ведомо, было ли это так, как выдавал Степан Иванович, и не располагало ли им что-либо иное.

Для выражения полноты религиозного культа Вишневого остается прибавить, что почитать или обожать св. Николая и св. Георгия тоже дозволялось не всякому, а только одним христианам инославных исповеданий. Те ласкою и почетом к этим святым откупались от бед и входили в милость у Степана Ивановича. Но евреям он отнюдь не дозволял прибегать под защиту этих святых, и даже тех, которые обнаруживали к этому хоть малейшую склонность, — подвергал взысканию. Так, был один еврей, который в чем-то обманул Степана Ивановича и был за то назначен к порке. Когда его повлекли от крыльца, с кото-

рого Вишне夫斯基 изрекал свой суд, – еврей этот стал упираться и, жалостно кривляясь, кричал:

– Ой, кили ж я шаную... я шаную и Мыколу... шаную и Юрка...

Степан Иванович велел ликторам остановиться и переспросил трясущегося жидка:

– Что ты такое кричишь?

– Кили я шаную... Кили я шаную...

– Не лопочи – скажи спокойно, кого шануешь?

– Ой же, усих... ой, обоих шаную... святого Мыколу и святого Юрка.

– Ну, это ты напрасно...

– Ой, отчего... ой, зачем напрасно... Кили ж вони милостивы... может, вони меня помилуют.

– Да, они милостивы – это совершенно правда, но им, братку, никакого дела нет за жидов заступаться, – у вас есть свой Моисей, ты его и кличь, когда тебя пороть будут; а за то, що ты осмілився своими жидовскими устами произнести таке свячене имя, – прибавьте ему, хлопци, еще десять плетюганов за Мыколу, да двадцать пять за святого Юрка, щобы не дерзал их трогать.

И несчастного еврейчика, конечно, отвели, куда надо, и задали ему все, что было назначено за обман, – с прибавкою тридцати пяти ударов за неуместное, по мнению Вишневского, ласкательство к Николе и к св.

Георгию, – причем и тут тоже честь этих двух святых не была сравнена, а за Николу давалось только десять «плетюганов», тогда как за св. Юрия двадцать пять.

Разумеется, это делалось неспроста, а по большому почтению и любви к св. Юрию.

– Бо се, выбачайте, – наш, русьский, а не з московьской стороны.

Глава девятая

Упомянув не раз, что Степан Иванович отдавал видимый преферанс тому, что исходило «не з стороны московской», я должен предупредить читателя, чтобы он не поспешил счесть Вишневого политиком, сепаратистом, или, как нынче называют, «хохломаном». Правда, что тогда на хохломанство не только смотрели сквозь пальцы, но даже совсем и знать о нем не хотели; но если бы кто приступил к душе Степана Ивановича и «со всяким испытанием», то он не нашел бы там ничего политического. Вернее всего, он почувствовал бы себя там как в амбаре, где все навалено и все, почитай, есть, но никто толком ничего не отыщет. Вишневский противоречил решительно всем, кроме своей первой жены, здесь уже довольно подробно описанной Степаниды Васильевны, из рода тверских дворян Шубинских. Если собеседник был хохломан и хвалил все малороссийское, то Вишневский непременно хотел выставлять недостатки малороссийских нравов и делал это с талантом, доводя свои сравнения до большой меткости и едкости. Тогда он усердно похвалял Польшу, особенно Батура и Собиесского, – называл «Богдана» великим «пьянычкой» и приводил спор к решительной, по его мнению,

формуле, что «Польша впала и нас задавила». Но отзывался кто-нибудь со вздохом за Польшу – и Степан Иванович сейчас переменял вал в своем органе и вел речь на великорусский мотив.

– То правда, – говорил он, – були у них вольности и поважанье, але що з того, як все хотели быть «крулями» да над «крулями» каверзували. За те ж то и згнули, и мусяли згинуть, бо не тім занимались, що треба для благоденствия цілого края, а шарпали ту несчастну свободу усяк, кто як мог, на свою сторону.

Он махал рукою и презрительно заключал:

– Ледаще, ледаще!

Но Вишневский не был и поборник строгого уважения к властям, а, напротив, как выше показано, сам весьма часто и даже почти при всяком случае готов был унижать и оскорблять органы законной власти. Не был он и демократом, не был и народником в нашем нынешнем понятии. Напротив, самое скромное и, по-видимому, безобидное учреждение выборной должности городских голов его смешило, и он ни за что не хотел называть их «головами», а называл иначе. Словом, Вишневский, по короткому, но меткому определению простых людей, был «пан, як се на лежи – як жубр из Беловежи», то есть он был барин как следует, все равно что зубр из Гродненской пуци, который не чета обыкновенным быкам, а всех их от-

важнее и сильнее. И как пан, он наблюдал свое полное достоинство и знал толк в этом деле. Не имея настоящего образования и не читав неизвестных еще тогда политических рассуждений, написанных позже такими людьми, как Токвиль, – он верно понимал космополитические стремления настоящего аристократизма, свойственные также и настоящему демократизму, ибо при обоих объединяющим стимулом является принцип, оттесняющий в сторону симпатии национальности. Вишневский недолюбливал поляков, но чуть речь заходила о каких-нибудь именитых людях «московских», – он сейчас начинал строить иронические гримасы и, улучив минуту, когда Степанида Васильевна не была в комнате, говорил:

– Ну, какая там у них именитость! – у всех у них деды и бабки батогами биты.

С этой точки зрения Вишневский превозвышал польскую знать и даже ливонских баронов; но если бы с ними у России зашла война, он бы не утерпел и пошел бы их «колотить» со всеусердием, ибо, хотя он втайне завидовал чистоте их «родовитой крови», но терпеть не мог в них «собачьей брови», то есть их высокомерия и надмения, которые ему были противны, так как он считал себя простым и прямодушным.

Кто мог бы разобраться во всем этом, что было наворочено под черепом у этого психопата? Но возни-

кал случайно перед ним какой-нибудь вопрос или случай необыкновенного свойства – и вся эта психопатическая «бусырь» куда-то исчезала, и Степан Иванович обнаруживал самую удивительную, тоже, пожалуй, психопатическую находчивость. Он действовал смело и рассчитанно в обстоятельствах сложных и опасных и шутя выводил людей из затруднений и больших бед, которые угрожали тех задавить.

Один из таких случаев рассказывают об офицерах какого-то драгунского полка, квартировавшего не то в Пирятине (Полтавской губернии), не то в Бежецке (Тверской губернии).

Этот занимательный случай одни усвоят Тверской области, а другие Малороссии – и что правее, судить трудно, да едва ли и стоит ломать над этим голову. Случай таков, что он с одинаковою вероятностью мог произойти в любом городке, но, судя по характерам двух упоминаемых здесь «панычей», кажется, статочнее – прилагать это к нравам малороссийского подьячества.

Нам, впрочем, дело не в точном обозначении места, а в самой картине события и в том участии, которое принял в нем наш психопатический герой.

Глава десятая

В Пирятине (примем за данное, что это было там) стояли драгуны. Части полка были расположены и в других местностях. Полковой командир квартировал, может быть, в Переяславе.

Разумеется, на стоянке в крошечном городке офицеры скучали от безделья и развлекались, разъезжая в гости к помещикам. Когда же выдавалось несколько дней домоседства, они кутили, играли в карты и пили в погребеке при лавке какого-то местного торговца виноградными винами. Торговец был еврей, любил обирать офицеров и разгулу их потворствовал, но сам их боялся и, – для того ли, чтобы они хоть мало-мальски вели себя тише при возбуждении, – он повесил в том помещении, где пировали его гости, портрет лица, которое, по его понятиям, могло напоминать посетителям его заведения об уважении к законам благочиния. Может быть, это было умно, но повело к истории.

Как-то, в самую скучную летнюю пору, в город заехал жонглер и, ходя по городу, давал, где его принимали, свои незамысловатые представления, из коих одно пришлось очень по вкусу господам офицерам: артист сажал свою дочь на стул, плотно подвигая его спинкой к стене, и, достав из мешка несколько кинжа-

лов, метал их в стену так, что они втыкались, обрамлявая голову девушки со всех сторон, но нигде ее не задевая.

Такое твердое и ловкое упражнение оружием весьма заняло людей, знакомых с трудностью этих смелых эволюций кинжалами, и вот офицеры, собравшись однажды там, где было им за обычай пить и закусывать кусочками сыра, наструганного наподобие выветрелых остриженных ногтей, стали говорить о метаниях кинжала, и когда сделались уже пьяны, то одному из них пришло в голову, что и он может проделать то же самое.

Кинжалов при них не было, но на столе находились вилки, которые до известной степени при этом опыте могли заменить кинжалы. Если их и не так легко было бросать с прицелом, то все же таки они втыкались в стену.

Остановка была за человеческим лицом, около которого можно бы натывать вилок. Из офицеров, разумеется, ни один не пожелал сам подвергнуть себя такому опыту. Надо было найти личность низшего разряда, конечно, самое лучшее жида, – и разгулявшиеся офицеры отнеслись с предложением такого рода к прислуживавшим евреям, но те, по трусости и жизнелюбию, не только не согласились сидеть на таком сеансе, но даже покинули свои посты при торговле и

предоставили всю лавку во власть господ офицеров, а сами разбежались и скрылись, хотя, конечно, не переставали наблюдать из скрытых мест за тем, кто что будет брать, и вообще что станет далее делать шумливая компания.

На этот грех случай поднес сюда двух молодых приказных, по местному выражению – «судовых панычей», которые в этот день, вероятно, стянули с кого-нибудь «доброе хабара» (то есть хорошую взятку) и пришли угостить себя в погребеке холодным донским вином полынного привкуса.

Офицерам тотчас же пришла мысль приурочить этих панычей для своего опыта – для чего тем сначала было предложено вместе выпить, а потом к ним стали приставать, чтобы который-нибудь из них посидел на сеансе.

Панычи оказались очень странными людьми, совершенно разного нрава – один как Гераклит, а другой как Демокрит. Придя с жару в холодный погребок, они как выпили холодного вина, так их и развезло, и потому, когда офицеры стали к ним приставать, они, вместо того чтобы скорее уйти, не трогались с места. Считая себя на равной ноге, как аборигены, они начали проявлять свой характер. Один на делаемые ему предложения смеялся и отпускал раздражавшие офицеров малороссийские шуточки, а другой раскис

и стал плакать. И хотя его уже никто не трогал, но он все продолжал кричать: «Не чепайте меня! Идите со- би до біса! дайте мени святого покою!»

Оба эти панычи так надоели офицерам, что те, наконец, поступили с ними по-свойски, – то есть похлопали их и подбили под стол и решили держать там, «как поросят», до тех пор, пока окончится пирушка. Это было и удобно и безопасно, ибо под столом панычей офицеры удерживали ногами, имея и рты и руки свободными, а между тем через обеспечение личности панычей устранялся скандал, который казался неизбежным при мерзком характере, какой обнаруживали эти неуступчивые молодцы. Один из них непременно бы стал на площади или на улице визжать на весь город, а другой, чего доброго, мог бы взлезть на забор или подойти к окну и тут же через окно дразниться.

Тогда пришлось бы за ним бегать, его доставать и ловить – все это было бы скандально и непременно бы собрало бы кучу баб и жиденят. Словом, вышло бы совсем неприлично офицерскому званию, – между тем как панычи, подбитые под стол, сидели там смиренно и только жались, обнявшись друг с другом, на тесном пространстве, где их теснили офицерские ноги в сапогах со шпорами.

Все было прекрасно, но в компанию замешался

черт, и все дело испортилось: офицеры до того запьянели, что стали метать вилки в портрет, рассчитывая, что могут окружить его так же ловко, как жонглер окружал кинжалами голову живого человека. Но черт тут и был: как только первый офицер метнул вилку, бес толкнул его под локоть – и вилка попала в самый глаз портрета. Метнул другой офицер, а черт опять навел вилку по тому же направлению в другой глаз, и тогда в опьяневшей компании развилось соревнование – вилки полетели одна за другою и совсем изуродовали лицо портрета.

В пьяном загуле, перешедшем уже в состояние умственного омрачения, офицеры не придали этому событию никакого особенного значения. Попортили картину – больше ничего. Не бог весть какого она мастера – не Рафаэлево произведение и огромных сумм стоить не может. Призовут завтра жида-хозяина, спросят его, сколько картина стоила, хорошенько с ним поторгуются и заплатят – и на том квит всему делу. Зато как было весело, сколько шутили и смеялись при всякой неудаче бросить вилку так метко, как бросал жонглер.

– Нет, он, шельма, лучше делал. Нам так не сделать. И слава богу, что никто живой не согласился перед нами сидеть, а то бы мы живому глаза повыкололи – тогда и не разделаться.

Очень рады были добрые удальцы, что так хорошо дело кончилось одними смешками да шутками, и, подерживая друг друга, разбрелись по квартирам. Уходя, они совсем даже позабыли про судовых панычей, которые притихли под столом и не подавали о себе ни слуху ни духу.

А дело было совсем не так просто и совсем не благополучно, как думали разошедшиеся на отдых добрые ребята.

Глава одиннадцатая

Как только офицеры разошлись и оставленная ими камора при еврейской лавке опустела, «судовые панычи» вылезли из-под стола и, расправя окоченевшие от долгого согбения колени, оглядели вокруг свою диспозицию... Все было тихо – ни в каморе, ни в лавке ни души, а сквозь густое облако табачного дыма со стены едва был виден изуродованный портрет с выколотыми глазами и со множеством рваных дырок в других местах.

По счастью для одних и по несчастью для других, панычи были много трезвее офицеров, потому что, когда те довершали свое опьянение за столом, из-за которого метали в портрет вилки, заключенные под столом Гераклит и Демокрит значительно «прочунели» – чему, может быть, сильно содействовали и страх, и воздержание, и жажда мести, которая в них зажглась, и они придумали прекрасный план наказать своих обидчиков.

Панычи, недолго размышляя, сняли со стены израненный портрет и, выбежав с ним вместе на крылечко лавки, закричали: «гвалт!»

– Люди добрые, сходьтесь... Кто в Бога віруе и старших поважае, дывитесь... Ось як охвицеры такой

персоны патрет спонивадыли!

И сейчас на этот зов – невесть откуда, как из земли, выросли спрятавшиеся на время дебоша хозяева, прибежали с торга бабы-перекупки, загалдели жиденята – и пошла история.

Жид-хозяин, больше всех струсивший и всех более недовольный скандалом, закрыл себе большими пальцами глаза, как закрывает их благословляющий раввин, и кричал:

– Я ничего не бачыв и теперь не бачу, да и не знаю, кто сей войсковий пан, ще тут писан... Дай бог ему, чтоб все доброе, а только мени... мени теперь эта картына совсем не нужна... Я ее жертвую: берите ее себе, кто хочет.

А Демокрит возглашает:

– Мы то знаем... яка се персона и протестуемось... Бачте, добри люди – очей нема, повыколованы. Несем портрет до городничего.

И Демокрит понес израненный портрет по улице к городническому дому, а Гераклит его сопровождал и опять раскис на теплом солнышке и плакал, и все, кто за ними следовал, указывали на него с похвалою, говоря:

– От се ж дивитесь, яке чувства мает!

А офицеры себе спят да спят и не чуют, что они опротестованы и что дело это им непременно натво-

рит хлопот, с которыми не знать как и развязаться.

Но если грузен был их хмельной сон, то не легко было и пробуждение на следующее утро.

Рано всех собутыльников описанной попойки обежал вестовой от усатого майора или ротмистра, который командовал эскадроном и представлял своим лицом высшую полковую власть в месте расположения.

Конечно, ротмистр еще не бог весть какое высокое начальство – почти то же, что «свой брат Исакий», и порою «вместе пляшет», – однако офицеры струхнули.

Главное лихо в том было, что у них еще головы трещали и они никак не могли вспомнить всего, что вчера происходило в каморе при жидовской лавке... Что-то такое помнилось, что было будто крепко закручено, да только не все подряд вспомнить, а что-то обрывается, и являются промежутки времени, когда будто даже и самого времени не было... Помнится, что будто разогнали жидов, да ведь это совсем не важно, и не раз это случалось и при самом ротмистре. Разогнать никого не беда, а особенно жидов, потому что это такой народ, который самыми высшими судьбами обречен на «рассеяние». Жид насчитает лишнее, положит за выпитое то, что и не было пито, и за то поврежденное и разбитое, что совсем не повреждалось; но они рассчитаются с ним и опять будут жить ладно до но-

вой истории. Жид сам же им поставит первую выставку без денег «на мировую», а потом они захотятся и поддержат коммерцию... Не может быть, чтобы это он – жид захотел с ними ссориться и был причиной внезапного раннего призыва их к старшему офицеру!.. Разве что-нибудь приказные... Кажется, будто там были какие-то два приказные... «судовые панычи»... То же кушанье неважное... мало ли их везде в то время военные люди трепали!.. Да и чего они больше стоят – это крапивное семя, взяточники?.. Разве вот только не обрубил бы которому-нибудь их нос или уши?.. Вот это скверно – отрубленного не приставишь... Но, – бог милостив, – сходили с рук и не такие дела – сойдет и это. Да и на что приказному нос? – разве только чтобы табак нюхать да обсыпать им казенную бумагу... А хабар или взятка не жаркое, он ее и так, без носа почувствует... Разумеется, придется сложиться и заплатить, но в складчину это не тяжело будет...

Глава двенадцатая

В таких или приблизительно в подобных сему размышлениях офицеры, мало унывая, потянулись к квартире своего старшего товарища и вступили в его просторную, но низенькую залу, в малороссийском домике, смело; но тут сразу же заметили, что дело что-то очень неладно. Ротмистр их не встречает запа nibрата – в полосатом канаусовом архалуке, с трубкой в зубах, а двери в его кабинет заперты, – пока, значит, все соберутся, тогда он и выйдет и заговорит ко всем разом...

Эта официальность не обещала ничего доброго, и сходящиеся офицеры переглядывались друг с другом и, понизив тон до полупшепота, спрашивали один у другого:

– Да что это такое?.. Что мы вчера наделали?

Одному кому-то на переходе по улице удалось что-то услышать про портрет...

– Портрет, портрет... Что такое за портрет?!

Никто не может вспомнить.

А в это время дверь вдруг отворяется, и из кабинета выходит ротмистр, в мундире с эполетами, и усы оттопырены, и, не поздоровавшись, начинает речь словами, гораздо позднее вложенными Гоголем в уста

Сквозника-Дмухановского:

– Я пригласил вас, господа, для того, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: на вас подана жалоба по гражданскому начальству, и мне сообщил о ней городничий; я должен вас арестовать. Пожалуйте мне ваши сабли и извольте сейчас чистосердечно объясниться: что вы такое вчера наделали в лавке?

Офицеры стали безропотно снимать сабли и подавать их эскадронному, но насчет «чистосердечного объяснения» отвечали, что они и сами рады бы узнать, что такое именно они наделали, но не могут привести себе этого на память.

Ротмистр еще принасутился и еще суровее произнес:

– Прошу не шутить! я с вами говорю по службе, как старший!

– Шуток и нет, – отвечал один из обвиняемых, – а ей-богу мы не помним.

– Припоминайте!

– День был жаркий... вошли невзначай... стали пить в холодке полынное... с жидами за что-то поспорили... но худого умысла не имели... Там даже были два приказные, и те всё могли видеть.

– То-то и есть... два приказные! В них-то и дело. Эти два приказные действительно могли всё видеть, и они и видели, а вот вы чем будете против них оправ-

дываться? Срам нашему званию!

– Да в чем оправдываться?.. Позвольте узнать, – проговорили офицеры.

– А вот в чем вам надо оправдываться! – воскликнул ротмистр и, вынув из кармана сложенный вчетверо лист бумаги, стал читать обязательно сообщенную ему городничим копию с извета судебных панычей, где писано, как господа офицеры повреждали портрет метанием вилок, несмотря на то, что они, случившиеся на месте преступления судебные панычи, «имея в сердцах своих страх Божий и любовь ко Всевышнему», во все это время стояли на коленях, и до того даже, что растерзали на тех местах об пол имевшиеся на них в ту пору единственные шаровары и по той причине теперь лишены возможности ходить на исправление обязанностей службы. А потому они против всего оказанного офицерами бесчинства по долгу своему протестуют, а за панталонное повреждение просят взыскать с виновных особенно в пользу каждого, по двадцати рублей ассигнацией.

Дочитал это ротмистр и, свистнув вестовому, велел подать из своей спальни портрет, на котором офицеры воочию могли увидеть следы своего вчерашнего времяпровождения, и остолбенели...

А ротмистр меж тем снял с себя мундир и, оставшись в одном военном галстухе, сел на стол и, зало-

жив руки за вышитые гарусные подтяжки, заговорил другим голосом:

– Дело, господа, плохое. Это имеет предьянной характер, потому что тут черт знает что такое присочинят... Какая-то ничтожная приказь, дрянь, канцелярские с приписью подьячие, и против офицеров... Я с вами обошелся как старший, а теперь говорю как товарищ... Этого так предоставить своему обыкновенному течению невозможно, а надо предупредить быстротою и чистосердечною военною откровенностию, как прилично благородным людям... Поможет это или нет, но надо действовать откровенно и честно. Прошу садиться, закуривайте трубки и давайте думать. А мое мнение такое: грех воровать, да нельзя миновать. Надо тем пользоваться, что почта в Переяслав вчера ушла и теперь опять только через три дня пойдет. Это ваше счастье. Я отобрал у вас сабли, и вы выберите поскорее из себя двух, и пусть они скачут к полковнику и расскажут ему всё по совести. Он с губернатором хорошо знаком и помочь может.

Лучше этого плана не могли и придумать, и через час два офицера уже скакали из Пирятина в Переяслав, а на дороге у них Фарбованая; с неба после жары и духоты ударил гром и полил ливень, и в потоках воды, как пузырь, выскакивает перед офицерами из хлебов хохол в видлоге.

– Що за люди с дзвоном и чого треба?

Отвечают:

– Мы офицеры, едем по своему делу.

– А як по своему ділу, то вертайте до нашего пана Вишневского.

Офицеры было не хотели, но хохол их убедил, что «се вже такички... такая поведенця».

Заехали, чтобы переждать дождик и грозу, а Степан Иванович встречает их радушно – сейчас напоил, накормил, и спрашивает:

– Что вы, господа, волей-неволей или своею охотою дальше рветесь в такую погоду?

Офицеры отвечают по-сказочному – что едут они и волей, и неволей, и своею охотою.

– А именно?.. Может быть, я пособить вам могу, что и ехать не надо будет.

Те вздохнули и говорят:

– Нет, у нас такое трудное дело, что разве только полковник губернатора упросить может.

– Ну, однако, – что такое губернатор? Я ведь не из пустого любопытства спрашиваю.

Офицеры рассказали.

Вишневский поводит себя растопыренными пальцами по темени, чихнул и говорит:

– Это совсем не губернаторское дело, и вам в Переяслав ехать незачем. Никто вам не поможет, если

не дать делу правильного оборота.

– А как ему дать правильный оборот?

– Ну, это мне надо еще почихать.

И Степан Иванович опять поводит себе пальцами по темени, чихнул и говорит:

– Да, вижу я, что все вы хоть москали и надо бы вам нас учить, а вы дело нехорошо поставили и можете его совсем испортить, если поедете к старшим. Вы вашу откровенность себе не поможете и начальство затрудните, а вот я вас до завтраго у себя арестовываю, и имею право арестовать, потому что вы мне сами сознались, что сбежали, да при вас и ваших сабель нет. Прошу пожаловать во флигель – там вам готовы все услуги, и спите крепко, а завтра утром все ваше дело примет такое правильное направление, как следует.

Глава тринадцатая

Офицеры, поговорив, подумали: что же, до утра подождать беда не велика, – и подчинились своеобразному хозяину. Они ушли во флигель, а фарбованский пан крикнул гайдука Прокопа, велел ему сесть в бричку и скакать в Пирятин, где найти таких-то двух судовых панычей и во что бы ни стало привезти их к утру в Фарбованую.

Гайдук поскакал, разыскал панычей и говорит:

– Мій пан Вишневський нездужає. Так ему прикоротило, що аж не знаю, чи він до вечера додышет. Схопився, колысь теперички отказну духовну писать и прислав меня до вас просити, щоб сейчас увзяли с собою каломарь и паперу и іхалы со мною, в свидетелях подписаться. Вам за се добрый хабар буде.

Панычи знали, что Вишневский *никогда не болел*, а такие если заболят, то к смерти.

Они подумали: «Верно он помрет, то и мы себе что-нибудь в духовной припишем. Он больной не расчухает».

Так они с радостью скоро собрались и поехали, и как Степан Иванович только проснулся, – они уже у него на крыльце стоят.

Степан Иванович сделал для этих гостей малень-

кую отмену в приемном этикете. В дом он их, разумеется, тоже не впустил, но велел вынести на свой лифостротон маленький столик и на двух панычей один стул – только с тем, чтобы они не смели на него садиться.

Затем он вышел к ним в картузе с большим козырьком и повел политику.

– Вас, – говорит, – мой гайдук надул, будто я помираю. Это еще, хлопци, бог даст, не скоро будет, и я до тех пор привезу для своей духовной других свидетелей, вас поисправнее. А я привез вас сюда для вашего блага...

Те смотрят.

– Что вы там, анафемы, позавчера у жида в каморе наделали? А?

Панычи выразили удивление.

– Помилуйте... Кто это вам наговорил?.. Мы ничего, а это офицеры...

– Да, да, – я все знаю. Потому мне вас и жаль, что вы, дурни, вздумали свою вину на офицеров взваливать, как будто это вам поможет... Вы б таки одно то вздумали, что офицеров шесть человек свидетельствуют, что вы портрет повредили, а вас против них всего только двое... Кто же вам поверит?

– Позвольте... да мы...

– Нечего, нечего пустяки говорить, – перебивает

Вишневский. – Я все знаю, – мне все известно. Вы там задумали донос писать, и когда еще ваш тот донос пойдет, – а уже офицеры поскакали и в Переяслав, и в Полтаву, и в Киев. Хвала божья, що я их перехватив да у себя зарештовав... Их шесть человек, и все видели, как вы вилки кидали...

– Позвольте... да когда же мы кидали?

– Нечего, нечего! – не дает слова Вишневский, – вас двое, а их шесть, и вам не выкрутиться. Притом они вас знатнее... они благородные дворяне, а вы что такое? – яки-сь крученые панычи, пидкрапивники...

– Да мы в правде...

– Цыц! что такое за правда с москалями! Их шесть, а вас двое... Кто ж вам поверит? И разве вы не знаете, что у нас и все большое начальство тоже московское. Да еще и забісовьски жида наверно за сильнейшего потянут – скажут, что видели, как вы кололи.

– Смилуйтесь, пане, – ведь жида ж шельмы!

– Да кто ж вам говорит, что они не шельмы, а только они на вас покажут... Вот потому-то мне вас и жаль, что вы в такую біду попали, аж просвіту нэма.

Подьячие, понимая толк в формах судопроизводства, видят, что черт возьми – дело-то ведь в самом деле плохо, и не только нет никакого преферанса на их стороне, а даже, пожалуй, как пить дадут – всю вину на них взвалют.

– Их ведь шестеро... а нас двое... А!

– Да... А еще жиды, может быть...

– Что же делать?

– Что нам, ваша милость, делать?

– А я вот что научу вас сделать. Садись-ка один из вас и пиши, что я говорить буду.

Началось писание, а Степан Иванович диктует:

«Був малосмысленны от природы и от обращения в хабарной бідности помрачени совістю...»

Пишущий приостановился... но Вишневский его подогнал:

– Пиши, пиши! Это так надо.

«Помрачени совістю... мы, такой-то и такой судовые копиисты, придя в камору при жидовской лавке, упилися до безумия нашего и, зачав за хабара спориться, стали друг в друга метать вилками, и как були весьма пьяны, то попали неосторожностью в портрет...»

Пишущий опять остановил руку, но Степан Иванович пощупал его за затылок, и тот сейчас же стал продолжать и написал до конца целый акт своего сознания в невольной вине и потом в том, что «по опасению своему они решились было возвести свою вину на офицеров, уповая, что тем, как людям войсковым, ничего не будет. Но ныне, чувствуя свое согрешение и помышляя час смертный, они в том каются и просят у

офицеров прощения и *недонесения*. А за провинность свою, в пьяном виде сделанную, сами упросили пана Вишневого родительски наказать их у него в селе Фарбованой по возможности розгами, после чего Вишневский будет, в случае надобности, просить, чтобы дело не начиналось».

– Да за що ж... ваша милость, за що ж нас же и битимуть?

– Это только так пишется!

Они подписались, и Вишневский подписал и позвал офицеров.

– И вы, – говорит, – господа, подпишите, что согласны их простить от своего общества и уж, пожалуйста, по-военному – будьте великодушны, ни до кого этого дела... не доводите. Я ведь меж вас поруюю.

И те подписали.

– Вот так чисто, – сказал Степан Иванович, кладя в карман бумагу, – а теперь, – добавил он, обращаясь к людям, – сведите этих панычей на конюшню и велите их там добре выпороть.

– Помилуйте, – что такое...

– А то що такое! – это же так... як писано есть! Що ж вы уже писанию хотите противиться! Эге! добры панычи. Выпорите их, хлопци!

И выпороли.

Этих панычей после, говорят, будто долго спраши-

вали, «що як им трапилось: як вони в Фарбованой фарбовались?»

А к Степану Ивановичу в Фарбованую приезжал командир и хоть словами не говорил, но всем выражал ему свою признательность за такое находчивое и «правильное направление дела».

Глава четырнадцатая

Сам в собственных своих делах Степан Иванович был предусмотрителен и поддавался ошибочным увлечениям только тогда, когда его отуманивала любовная страсть. И высшее в этом роде безумство овладело им по одному случаю, бывшему именно с тою тонкой и стройной Гапкой Петруненко, у ног которой мы его оставили на ковре.

Во время любви Вишневого к этой девушке в церкви села Фарбованой был священник, которого называют Платоном. Он имел будто довольно общую русским людям слабость, что трезвый «на все добре молчал», а выпивши – любил говорить и даже «правду-матку різать».

На другой день, после того как Вишневский встал с ковра, он радостно объявил утром Степаниде Васильевне важную новость.

Гапка ощутила в себе биение новой жизни.

– И то, что от нее родится, уж не будет моим крепакком, а будет вольным, – сказал Вишневский.

Степанида Васильевна встала и поцеловала мужа в голову.

Это был редкий дар любви со стороны Степана Ивановича, потому что все великое множество его де-

тей были писаны за ним «душами» и благополучно исправляли паньщину на его полях.

И Гапочка была веселенькая.

А через час она пошла себе рвать малину, и тогда к садовой ограде подошел в правдивом настроении отец Платон. Он увидел девушку и заговорил с ней пастырским тоном:

– Що, дівчинка – весела?.. Веселись, веселись, – ішь малынку сладйньку... а як родышь дытынку маленьку, так тоди тебе буде по потылице...

– Зачем так? – оглянулась на него вбок Гапка, вдруг внезапно сконфуженная и огорченная... потому что – как это ни странно – Вишневого любили многие женщины, делавшиеся сначала его любовницами против своей воли. И Гапка чувствовала то же самое и спросила: зачем ей непременно надлежит быть прогнанной: как только она родит дытыну.

– А затем, – отвечал батюшка, – що на панском дворе не держат коровку по второму теленку.

Только всей и причины было со стороны отца Платона, а Гапочка была впечатлительна, особенно в новом, чутком состоянии своего организма, и стала горько плакать; но, как скрытная малороссиянка, она ни за что не хотела сказать, о чем плачет. Степан Иванович сам о всем доведалься: люди видели, как священник говорил с Гапкою, и донесли пану, а тот сейчас потре-

бывал своего духовного отца к себе на исповедь и говорит ему:

– Что такое ты насказал Гапци?

Священник не мог решиться сказать, что он говорил девушке, и говорит:

– Не помню.

Вишневский взбесился и заорал:

– Ага!.. я теперь тебя знаю: это ты сам до нее ма-завься... Ты думал, що вона мене на тебя зміняе?

– Что вы, что вы, ваша милость...

– Нечего «моя милость». Моя милость только тем тебя помилует, что, как духовный сын твой, я бить тебя не велю, а пускай тебя уберут, як слід, и проведут по селу, шоб бачили, якш ты паскудник...

Несчастливого взяли, раздели, всунули его в рогож-ный куль, из которого была выставлена в прорез одна голова, и в волосы ему насыпали пуху и в таком виде провели по всему селу.

Священник ездил, жаловался, просил перевода и получил его, без всяких, впрочем, неудобных для Степа-на Ивановича последствий.

Отмщение ему воздал сам обиженный священник, но отмщение смешное и очень позднее. Оно откры-лось через много лет, когда Степан Иванович задумал выдавать замуж одну из своих дочерей. Тогда потре-бовалась выпись из метрических книг, и там нежи-

данно нашли глупую и совершенно бессмысленную запись по подчищенному, что такого-то Степана Ивановича и *законной* жены его родилась *незаконная* дочь такая-то...

Это было бессмысленно и серьезного вреда Степану Ивановичу причинить не могло, но это его ужасно сконфузило. Как, с ним – и осмелились отшутить такую шутку!.. И кто же? – поп! И притом – он останется неотомщенным... потому что отец Платон раньше этого волею божиею умер.

Иначе, разумеется, Степан Иванович нашел бы его и в чужом приходе...

Глава пятнадцатая

Таковы были дикие поступки этого оригинала, которые теперь, в наше порицаемое время, были бы невозможны или их наверное нынче зачли бы за психопатию. Но у Вишневого отдавали психопатизмом и самые его вкусы и ощущения. Он, например, не чувствовал красот природы, но любил только ночь и грозные эффекты, а в мире животных любил только голубя и лошадей. Голуби ему нравились потому, что они «целуются», а лошади потому, что в них есть удаль, быстрота и голос... Да, да, да, – ему чрезвычайно нравился лошадиный голос, то есть ржание.

Для доставления себе удовольствия в первом роде Степан Иванович содержал перед своими окнами большую голубятню и часто по целым часам любовался, «як вони цілуются». И Степаниду Васильевну призывал к этому зрелищу.

– Смотри – целуются.

И смотрят, бывало, оба – долго, долго и наверно с хорошими мыслями.

Для конского ржанья Степан Иванович всегда ездил на жеребцах и оставался совершенно равнодушен к тому, если они производили беспорядок в каком-нибудь съезде экипажей. Но и этого ему мало бы-

ло: где бы он ни слышал конское ржание – на езде ли это или из дома, он сейчас же останавливался, поднимал перед собою палец и замирал... Наверно, ни один меломан не слушал так страстно ни Кальцояри, ни Тамберлика, ни Патти.

Любимейшее зрелище Вишневого было хороший конский табун, где гуляет мощный и красивый жеребец. Даже издали слышав его ржание, Степан Иванович останавливался, и лицо его принимало выражение полного удовольствия... Казалось, глаза его не стесняясь пространством, видели, как конь, напрягши хребет и втягивая и ноздрями и оскалом воздух, несетя и пышет страстью...

– Слышишь, Степанида Васильевна?

– Да, мой друг, слышу.

И, счастливая всем на свете, что только доставляло удовольствие ее мужу, она и здесь выражала счастье... И Степан Иванович это ценил.

Ему было шестьдесят лет, когда Степанида Васильевна скончалась, и он ее оплакал горячими слезами, а потом, несмотря на свой преклонный уже возраст, довольно скоро вступил во второй брак с восемнадцатилетнею красивою малороссийскою девушкою по фамилии Гордиенко. И снова с этою своею супругою тоже был счастлив, но... Степаниду Васильевну помнил... Второй его молодой супруге, при многих ее

достоинствах, недоставало той, так сказать, вхожести во все его слабости и мании... Ей Степан Иванович не указывал на целующихся голубков и не хотел ее спрашивать, слышит ли она, как звенит и разрывается трелями, а потом сходит на октаву истошным голосом заливающийся султан табуна...

Вишневский попробовал было обратить на это внимание своей новой жены, но она оказалась бесчувственна – она даже не встала и не улыбнулась, а только холодно проговорила:

– Да, слышу, это где-то лошадь заржала! – и затем опять спокойно принялась за свою работу...

Не так должна была относиться к таким страстным вещам женщина с живою фантазией!..

Степан Иванович понял, что его новой жене недостает того, что имела прежняя, и не втягивал ее более в цикл понятий, которые были ей недоступны.

В минуты душевного подъема он только вздыхал, и искал глазами портрета Степаниды Васильевны, и ей улыбался...

Глава шестнадцатая

Со второю своею супругою Вишневский прожил еще около двадцати лет, наслаждаясь никогда не изменявшим ему здоровьем, и скончался, начав девятый десяток. Всех лет жизни его было восемьдесят два года. Немощей старости или медленного, но постоянного умирания он тоже не испытывал, а когда пришел к нему его час, он сразу отпал, как отпадает от стебля мягко созревшая малина.

Утром, в один из дней своего восемьдесят третьего года – весною, когда в Малороссии цветет роскошно сирень, Степан Иванович объезжал никому не поддававшуюся ногайскую кобылицу.

При участии своей необычайной силы и при необычайной своей тяжести он уходил до изнеможения дикую кобылицу и, сойдя с седла, отдал ее поводья конюхам, а сам взошел на балкон и вдруг остановился...

Вишневскому показалось, что у него как будто «отряслось сердце»... Скакал, скакал, трясся, трясся – и оно отряслось... Так, совсем без боли, без повреждения, как будто упала дозревшая ягода... Место его стало пусто... и все вдруг стало сдвигаться, как часовые гири, у которых бечева сошла с колеса.

Вишневский сел скорей в кресло и хотел что-то ска-

зять, но язык его завял в устах... Все так хорошо, кругом цвет и благоухание... Он все видит, слышит и понимает... Вот конюхи, облепив подпругу, «разводят» под тенью стены потную кобылицу... Она отдыхает, встряхнулась, и легкие частицы покрывавшей ее белой пены пронеслись в воздухе. За стеною конюшни раздался удар о помост двух крепких передних копыт, и разлилось могучее и звонкое с фаготным треском: и-го-го-го!..

Степан Иванович повел глазами направо и налево... Он искал портрета Степаниды Васильевны, но остановил их на кусте цветущей сирени и улыбнулся...

Надо думать, что он увидал там самоё Степаниду Васильевну с ее продолговатым обличьем типа Шубинских и... упал со стула к ее ногам – мертвый. В жизни иной они оба друг друга, вероятно, узнали.

Впервые напечатано – журнал «Новь», 1885.